

**ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ РУССКИХ  
КОНСЕРВАТОРОВ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX СТОЛЕТИЯ /  
отв. ред. А. Ю. Минаков. — Воронеж : Воронежский государственный  
университет, 2005. — 417 с. (Серия Монографии). Вып. 13)**

**С. В. Хатунцев**

*Воронежский государственный университет*

*Поступила в редакцию 27 февраля 2008 г.*

О русском консерватизме исследователи-историки пишут в последние годы весьма активно. Среди работ о нем преобладают труды, посвященные конкретным персоналиям, и изучение консерватизма «все больше сводится к изучению жизни отдельных его представителей»<sup>1</sup>. Данной тенденции следует и рассматриваемое нами издание. Под его обложкой собраны политические и интеллектуальные биографии таких видных деятелей раннего русского консерватизма, как А. С. Шишков, Ф. В. Ростопчин, С. Н. Глинка, Н. М. Карамзин, М. М. Философов, А. А. Аракчеев, А. Н. Голицын, М. Л. Магницкий, А. С. Стурдза, С. С. Уваров. И хотя такие ключевые для формирования русского консерватизма фигуры, как Шишков, Глинка, Карамзин, Ростопчин, Уваров в академическом плане известны более-менее хорошо, главы рецензируемой книги обогащают их исторические портреты множеством интереснейших деталей и целых сюжетов. В то же время значительно меньше *объективных* научных знаний накоплено о М. Л. Магницком и А. С. Стурдзе, а М. М. Философов в качестве консерватора практически неизвестен. Но и представленные в коллективной монографии исследования об А. А. Аракчееве и А. Н. Голицыне показывают этих государственных деятелей с совершенно неожиданной стороны.

Ответственный редактор А. Ю. Минаков рассматривает серию вошедших в нее очерков как «...один из подступов к созданию обобщающей работы о консерватизме и национализме в царствование Александра I» (с. 16). Большая часть их написана признанными исследователями русского консерватизма конца XVIII — первой половины XIX вв. — как отечественными, так и зарубежными.

© Хатунцев С. В., 2008

<sup>1</sup> Минаков А. Ю. Русский консерватизм в современной российской историографии: новые подходы и тенденции изучения // Отечественная история. 2005. № 6. С. 134; Репников А. В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX — начало XX в.). М., 2006. С. 24.

Однако в издании отсутствуют главы, посвященные таким «отцам-основателям» русского консерватизма, как М. М. Щербатов, Г. Р. Державин, деятелям консервативной партии при дворе — вел. кн. Екатерине Павловне, вел. кн. Константину Павловичу, вдовствующей императрице Марии Федоровне, консерваторам-масонам — И. Е. Поздееву, П. И. Голенищеву-Кутузову, Д. П. Руничу, «церковным» консерваторам — митрополиту Серафиму (Глаголевскому), архимандриту Фотию (Спасскому). Но этого не позволяет необходимо ограниченный объем книги, вследствие чего представляется целесообразным дополнить ее другим изданием, в которое войдут работы, посвященные вышеперечисленным персоналиям.

Открывается она Предисловием редактора, в котором кратко и емко охарактеризованы основные тенденции и специфические черты становления раннего русского консерватизма в конце XVIII — первой четверти XIX столетия. Здесь следует особо отметить тезис, что данное течение мысли является порождением Отечественной войны ничуть не в меньшей степени, нежели декабризм (с. 10).

Обстоятельный, неспешно-повествовательный очерк об А. С. Шишкове написан М. Г. Альтшуллером. Автор анализирует его взгляды на западную культуру, в качестве предшественника адмирала указывает на Д. И. Фонвизина. Далее исследователь реконструирует социально-исторические взгляды своего фигуранта на Россию, основанные на представлении об антагонизме между образованными на европейский манер дворянами и хранящими заветы старины простолюдинами. Он замечает, что Шишков был одним из первых, кто поставил вопрос об отрыве образованного общества от исконной русской культуры, и сравнивает эти представления адмирала с соответствующими идеями А. С. Грибоедова, кн. М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, но не пишет, что его концепция в данном отношении представляет собой практически готовую парадигму будущего славянофильства. В то же время Альтшуллер говорит, что «как

в святыню» «в каждое слово» шишковского трактата «Рассуждение о старом и новом слоге» уверовал С. Т. Аксаков (с. 45). В этой связи было бы весьма соблазнительно протянуть нить **прямой** идейной преемственности от адмирала к отцу известных славянофилов, от него — к сыновьям Константину и Ивану, а от них (более, конечно, от первого) — к московским салонам, в которых зарождалось славянофильство. Однако исследователь опять-таки этого не делает: его внимание поглощено тем периодом, когда Шишков проявлял максимальную жизненную активность.

Автор главы дает подробное описание истории общества «Беседа любителей русского слова», организованного адмиралом и его единомышленниками, и весьма аргументированно развенчивает многие ходячие мифы, сложившиеся вокруг этого общества. Так, даже «беглый взгляд на список членов “Беседы”» не позволяет рассматривать ее «как сборище бездарностей и тупых реакционеров»: в кругу «беседников» находились «киты» русской культуры и общественной жизни начала XIX в., в том числе Г. Р. Державин, И. А. Крылов и др. Исследователь замечает, что «Беседа» являла собой «сборище оппозиционеров». Тщательный анализ источников позволяет ему утверждать: большинство «конфузных» словечек и выражений, приписываемых этому обществу (например, *бильярд* — «шарокат», *кий* — «шаропех», *луза* — «прорездырие»), либо *выдуманы* ее противниками, либо принадлежат к историко-литературному фольклору, подобно знаменитой фразе о «хорошилище в мокроступах» (с. 55—56).

М. Г. Альтшуллер обращает внимание на то, что с точки зрения Шишкова истинно русский патриотизм должен строиться на православной вере, на русском воспитании и языке и что этот триединый постулат адмирала предвещает знаменитую «формулу» С. С. Уварова. Крайне интересна мысль автора о том, что для его фигуранта «язык есть и культура, и идеология» (с. 51).

Автор анализирует исторические — даже историософские — идеи Шишкова, пишет о его деятельности в Российской академии, борьбе с Библейским обществом, заступничестве за декабристов, подготовке цензурного устава взамен Устава 1804 г. Здесь Альтшуллер, развенчивающий несостоятельные представления, связанные с личностью адмирала, повторяет «черную легенду» о М. Л. Магницком как о «разгромщике» Казанского университета, которую в своих работах (в том числе — в очерке, вошедшем в рецензируемую книгу) дезавуирует А. Ю. Минаков.

Подводя итоги, Альтшуллер постулирует существенное воздействие Шишкова на А. С. Пушкина, протягивает нити от последователей адмирала к В. К. Кюхельбекеру и П. А. Катенину и далее — к Ф. И. Тютчеву, К. К. Случевскому, Вяч. Иванову, даже к В. Хлебникову, В. В. Маяковскому и А. И. Солженицыну.

В отношении общественно-политической деятельности Шишкова автор очерка с сожалением отмечает ее «полный успех»: согласно его оценке, роль адмирала в борьбе с либеральными начинаниями Александра I была очень велика. Далее он высказывается в том смысле, что если бы крепостное право было отменено в царствование Александра Павловича («на 50 лет раньше»), то, быть может, Россия избежала бы тех потрясений, которые постигли ее в прошлом столетии (с. 85). Но здесь исследователь, опытный филолог, по-видимому, сходит с надежной почвы исторического реализма. На наш взгляд, отмена крепостного права при императоре Александре I была невозможна. Практика (в частности, реализация Указа о вольных хлебопашцах 1803 г.) недвусмысленно показала непопулярность идеи освобождения крестьян у дворянства, и любые решительные шаги к этому вызвали бы серьезное сопротивление высшего сословия, которое, скорее всего, вылилось бы в придворный заговор, а кто, как не Александр Павлович, ведал о печальной судьбе своего венценосного отца... Такой исход тем более вероятен, что после 1815 г., когда в русском обществе ореол Александра как «победителя Наполеона» и «освободителя Европы» поблек, именно в дворянской, можно сказать, аристократической, придворной среде вызревали тайные общества, члены которых только и мечтали о том, чтобы свергнуть этого все более ненавистного им монарха.

М. М. Сафронов говорит о М. М. Философове. Оказывается, он был не только бравым генералом, настойчивым дипломатом, деловым администратором, членом Госсовета, педагогом, переводчиком, но и самобытным русским консерватором. Первые сведения о его оригинальных идеях появились в печати лишь в 80-х гг. прошлого века, а в последующий период исследователи российского консерватизма должного внимания на эту фигуру не обратили. В его жизни Сафронов открывает страницу, не известную не только исследователям, но и современникам генерала. Он говорит о времени, когда тот являлся негласным советником Александра I и подготовил обширную программу социально-экономических преобразований страны. Автор главы анализирует и эту программу и общественно-

политические взгляды Философова в целом, приходя к выводу, что в 1803—1804 гг. последний выступил с наметками проекта реформ консервативного толка. Исследователь отмечает, что во второй половине 1808 г. его фигурант этот план развернул и конкретизировал. Далее Сафронов подробно разбирает записку, в которой излагается план; авторство и датировка данного документа устанавливаются им уверенно и определенно (с. 109—111).

По мнению Сафронова, важнейший пункт программы Философова — наделение крестьян частью помещичьей земли в вечное пользование — не имел прецедентов даже в либеральных проектах решения крестьянского вопроса предшествующего времени. Истоки принципов, положенных в основу программы этого деятеля, видятся ему в концепциях Монтескье, несмотря на выпады Философова против заимствований европейских теорий. Автор очерка устанавливает также влияние на него Н. И. Панина. Сафронов, в отличие от Альтшуллера, вполне исторично полагает, что такая грандиозная мера, как передел помещичьей земли (не говоря уже об освобождении крестьян!), должна была встретить еще большее сопротивление дворянства, нежели его сопротивление попыткам императора запретить в 1801 г. продажу крепостных, и предложения генерала, несмотря на их охранительный характер, вряд ли могли быть приняты в качестве правительственной программы (с. 107).

Глава, посвященная Ф. В. Ростопчину, написана М. В. Горностаевым.

Жизнь и деятельность московского генерал-губернатора как таковые долгое время оставались малоизученными. Причиной этого исследователь считает влияние романа «Война и мир», в котором фигура графа преподносится весьма негативно; в советское время ситуация усложнилась идеологическими мотивами. Автор очерка следует за биографией своего героя, останавливаясь на карьере Ростопчина при дворе Павла I, в частности — на его энергичных начинаниях в должности главного директора почтового департамента, знакомя читателей с почти неизвестными фактами жизни графа.

При освещении его внешнеполитических идей говорится о том, что именно Ростопчину принадлежит характеристика Османской империи как «безнадежного больного», пользовавшаяся широкой популярностью больше столетия. Парадокс в том, что этот «безнадежный больной» пережил «надежно-здоровую» державу Романовых: формально — на целые 5 лет, фактически — более чем

на 1,5 года; если монархия в России перестала существовать 3 марта 1917 г., то султанская Турция потеряла свой суверенитет (капитулировала в Первой мировой войне) и стала распадаться только 30 октября 1918 г., а де-юре династия Османов находилась у власти до 1922 г.

Горностаев пишет о земледельческих опытах Ростопчина, о его литературной деятельности. Весьма интересны наблюдения автора о социальном адресате одного из наиболее знаменитых памфлетов графа «Мысли вслух на Красном крыльце...», о внутренней свободе Ростопчина, его привычке откровенно высказывать свое мнение царственным особам (которая, очевидно, роднит графа с Н. М. Карамзиным).

Исследователь подробно говорит о деятельности Ростопчина в качестве московского генерал-губернатора и главнокомандующего Москвы, о его борьбе с тайными обществами. Отмечается, что одним из результатов пропагандистской деятельности графа стало формирование московского народного ополчения. Данный тезис Горностаев подкрепляет цифрами и фактами.

Отмечается роль Ростопчина в назначении главнокомандующим М. И. Кутузова, описаны деяния графа в Первопрестольной во время приближения к ней великой армии, говорится о его мерах по первой в отечественной истории масштабной эвакуации столичного города; сведениями архивных источников подтверждается личное участие Ростопчина в организации Московского пожара. Горностаев весомо опровергает господствующую до настоящего времени точку зрения, согласно которой вина за оставление древней столицы возлагается на ее генерал-губернатора; факты свидетельствуют об обратном, а вину за сдачу города автор очерка целиком возлагает на русское военное командование.

Не скрывает он и нелицеприятных моментов в действиях графа; так, Горностаев пишет, что именно по приказу Ростопчина был отдан толпе наполеоновский агент М. Верещагин, который, по нашему мнению, мог послужить историческим прототипом образа лакея Смердякова в «Братьях Карамазовых».

Показывает Горностаев и то, как в Москве распространилось отрицательное отношение к личности генерал-губернатора — в то время, когда Европа считала его «великим героем, разрушившим планы самого Наполеона» (с. 133).

Рассматривает исследователь и общественно-политические взгляды Ростопчина, источники,

которые их характеризуют. Его анализ выявляет множество параллелей в воззрениях графа со взглядами других консервативных деятелей русского общества конца XVIII — начала XIX столетия.

Т. А. Володина пишет о С. Н. Глинке, отмечая, что его отличали эмоциональность, взбалмошность — черты, для консерватора не типичные. Жизнь основателя «Русского вестника» исследовательница четко делит на 3 периода: в юности он был республиканцем и космополитом, в зрелые годы — консерватором и националистом, а в 20—30-е гг. XIX в. — почти либералом и обожателем французской культуры. Автор главы считает, что пребывание Глинки в сухопутном Шляхетском корпусе, где он «стал продуктом утопического эксперимента... по выведению новой породы людей» (с. 143), объясняет многие его странности. Представляет интерес анализ Володиной процесса поворота в умонастроении русского общества от либерализма и галломании к консерватизму и национализму в 1800-е гг. Рост настроений такого рода исследовательница по аналогии со знаменитым эпизодом в «Воине и мире» весьма удачно назвала «русской пляской». Довольно подробно рассматривает Володина литературную и театральную деятельность Глинки, его работу, связанную с изданием «Русского вестника». По ее мнению, оценка данного журнала как казенно-официального некорректна: он был скорее неудобен для Петербурга, да и «перехлест» в национализме его редактора не позволяет самого Глинку приписать к казенно-официальному направлению консервативной мысли: он, минуя самодержавный порядок, как бы «перехватывал» знамя патриотизма у власти и, тем самым, был для нее «живым укором». Эти мысли очень оригинальны.

Автор очерка пишет, что Глинка не считал раскол между простонародьем и аристократией обязательным и видел идеал последней в допетровском боярстве. Следует отметить, что через несколько десятилетий подобная парадигма была взята на вооружение сначала московским славянофильством, затем петербургским почвенничеством. Володина подробно рассматривает достоинства и недостатки исторических сочинений Глинки. Один из секретов популярности его «Русской истории» исследовательница видит в том, что благодаря ей российские юноши впервые получили возможность заглянуть в «заповедную», закулисную часть политической истории XVIII в. Володина отмечает, что вершиной жизненного пути Глинки стал «12-й год». Далее она выводит основные мотивы его консервативно-националистической идеологии.

Исследовательница ставит вопрос: почему с течением времени «образ консерватора-франкофаба потерял свою монолитность», и дает исторически убедительный ответ на него. Так, Володина обнаруживает воздействие на редактора «Русского вестника» идей Ж.-Ж. Руссо и приходит к выводу, что «сквозь консервативную оболочку Глинки пробивались черты либерального сознания, которые были усвоены им еще в юности» (с. 165).

Большой интерес представляет теоретическая часть главы, написанной ею. В соответствии с достаточно перспективным подходом, основанным на выделении внутри русского консерватизма течений в связи с преимущественным акцентированием одного из элементов триады «православие — самодержавие — народность», она относит воззрения Глинки к группе, уделявшей преимущественное внимание «народности». К ней же по ряду общих признаков Володина относит Ростопчина и Шишкова. Она высказывает очень интересное мнение: консерватизм этих деятелей был вторичен в том смысле, что возник он, главным образом, как реакция на внероссийские процессы; в то же время Франция и идеи Просвещения составляли неотъемлемую часть их идентичности, и в сознании всех троих уживались две половины: национализм пробивался из-под пласта космополитизма, а консерватизм соседствовал с либеральным духом (с. 167).

В. А. Китаев, автор очерка о Н. М. Карамзине, отмечает, что консервативная программа последнего стала итогом его длительной и глубокой идейной эволюции, которая и является главным предметом внимания исследователя. Китаев четко реконструирует ее ход, определяет факторы, которые на нее влияли. При описании общественно-политических представлений Карамзина в начале XIX в. исследователь приходит к выводу, что они имели охранительный и вовсе не либеральный характер, оспаривая в этом пункте точку зрения В. В. Леонтовича, высказанную в его «Истории либерализма в России».

Китаев отмечает, что в своем стремлении очертить пределы возможного для монархической власти, минуя конституцию и политическое представительство, Карамзин являлся предшественником раннего славянофильства, в частности К. С. Аксакова. По мнению автора главы, его фигурант заметно углубил критику петровских преобразований в сравнении с критикой М. М. Щербатова и одним из первых консервативных русских мыслителей констатировал глубокий культурный разрыв между дворянством и остальной массой народа, пошедший от Петра I (с. 181).

Усиление национально-патриотических мотивов в публицистике Карамзина исследователь рассматривает на фоне тех сдвигов, которые произошли в русском национальном самосознании в последней четверти XVIII в., и создатель записки «О древней и новой России» продолжает ряд мыслителей, начатый Д. И. Фонвизиным и И. Н. Болтиным. Интересно, что будущий историограф, непримиримый оппонент реформатора М. М. Сперанского, предлагал собрать в российском кодексе указы и постановления от времен Алексея Михайловича до Александра I, но именно Сперанский осуществил эту кодификацию российского законодательства при Николае I.

В отношении эволюции воззрений своего фигуранта автор очерка замечает, что после войны 1812 г., реагируя на подъем общественного движения, идейной доминантой которого стал либерализм, Карамзин «все более обнаруживает подлинно консервативную природу своих взглядов».

Очень важно наблюдение Китаева о том, что консервативное мышление принципиально отличалось от либерального неприятием конституционализма даже на европейской почве (с 189).

Анализирует исследователь и отличия известной «либеральности» Карамзина, не раз именовавшего себя «либералистом», от либеральности ранних А. С. Пушкина и П. А. Вяземского, Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова. Он вполне справедливо считает, что водораздел между ними проходил гораздо глубже вопроса о конституции и крепостном праве и крылся в понимании свободы. Карамзин настаивал на внутренней, нравственной природе свободы, которая не нуждается в санкции и определении границ извне. Эта позиция, по мнению Китаева, носит принципиально антилиберальный, т. е. консервативный, характер.

Интересна общая оценка создателем очерка характера взглядов своего фигуранта. По его мнению, зрелый Карамзин, по сравнению с идеологами дворянской оппозиции екатерининской эпохи, во взглядах которых элементы либерализма и консерватизма переплетались, представляет консервативную тенденцию уже в очищенном виде, удерживая при этом ее дворянский характер; в его воззрениях дворянский консерватизм первой половины XIX в. находит наиболее полное и завершенное выражение (с. 191). Китаев резонно полагает, что будучи сугубо охранительным, консерватизм Карамзина нес в себе и известный оппозиционный потенциал. Полемизируя с Ю. М. Лотманом, он утверждает, что в ряду современных ему

консервативных мыслителей и публицистов Карамзин выглядит не «одиночкой», а вполне органично.

Пишет исследователь и о влиянии своего фигуранта на последующую русскую консервативную мысль, прежде всего, на дворянскую ее ветвь и на М. П. Погодина.

К. М. Ячменихин и Т. В. Соломенная реконструируют частную жизнь А. А. Аракчеева — малоизвестную, наполненную всевозможными домыслами и неточностями, вводя в научный оборот множество неизвестных фактов и эпизодов. Они рассматривают историю обширной Грузинской вотчины графа, его управленческую деятельность там. Подробный анализ аракеевских нововведений позволяет авторам утверждать, что ему со временем «удалось создать образцовое предпринимательское хозяйство, ориентированное на рынок» (с. 200). В целом они стремятся изменить стереотипно-негативный образ всемогущего графа или, по крайней мере, сбалансировать в нем отрицательные и положительные черты.

Описывая ряд позитивных мер графа — основание заемного крестьянского банка, закрытие всех кабаков на территории имения, создание бесплатного госпиталя и т. д., — авторы очерка опровергают мнение В. А. Федорова, что в Грузию существовала постоянно действующая школа, и отмечают, что в своей страсти к чистоте и порядку Аракчеев все-таки порой перегибал палку.

Много внимания посвящают они изображению различных сторон жизни и быта аракеевской вотчины, в частности организации строительного дела в ней. Исследователи опровергают сложившееся в историографии мнение, что главный вотчинный архитектор А. И. Минут был крепостным графа: в действительности он числился на государственной службе, имел чин 7-го класса и получал от Аракчеева жалованье (с. 207). Впрочем, ведя масштабные строительные работы, граф тратил большие средства на оплату труда наемных рабочих, в том числе... своих собственных крепостных; авторы главы отмечают, что примеров, когда помещики платили собственным крестьянам за их труд, в истории мало. Они называют графа «альтруистом в пределах своих возможностей», но оговаривают, что проявления гуманизма шли у него не столько от сердца, сколько от разума.

Ячменихин и Соломенная установили, что начиная с 1802 г. у Аракчеева, помимо сына его любовницы Н. Ф. Минкиной М. А. Шумского, имелся еще один воспитанник — А. Л. Корсаков,

но почему граф взял на воспитание и его — пока что остается загадкой.

Они выдвигают обоснованное и даже весьма логичное в контексте того, что говорится о Грузино, предположение, что именно крестьянский быт вотчины Аракчеева натолкнул Александра I на мысль создать военные поселения, внимательно исследуют бюджет графа и приходят к заключению, что он не был скупым, скаредным человеком, как принято считать до сих пор. Оценивая его состояние ко дню смерти более чем в 2 млн р., авторы очерка основным источником этой суммы обоснованно считают банковские операции. Изученные ими факты свидетельствуют о том, что при всем своем политическом консерватизме Аракчеев не был крайним консерватором в вопросах социально-экономических; как помещика исследователи именуют его «консерватором-новатором» и предполагают, что эталоном для владельца Грузино послужило Гатчинское имение вел. кн. Павла Петровича, бывшее, по оценкам современников, хорошо организованным и рентабельным хозяйством (с. 215).

О кн. А. Н. Голицыне, находившемся в центре общественной и политической жизни России на протяжении всего царствования Александра I, пишет итальянская исследовательница Р. Фаджионатто.

На основании переписки князя с «образцовым реформатором» М. М. Сперанским она указывает, что опальный статс-секретарь полностью разделял взгляды и религиозные интересы этого государственного деятеля, традиционно считающегося реакционером. Крайне интересно найденное исследовательницей документальное свидетельство того, что предложение соединить в одном министерстве духовные дела и народное просвещение исходило от самого Сперанского, и он, как и многие либеральные политические деятели начала эпохи Александра I, встретил его учреждение с радостью (с. 235). Однако именно Министерство духовных дел и народного просвещения стало в историографии символом реакции конца правления Александра Павловича. Данный факт очень хорошо акцентирует внутреннюю взаимосвязь «либерализма» и «реакции» в курсе, проводимом этим монархом.

В этой связи показательно, что сторонники Голицына видели в создании «объединенного министерства» шаг к торжеству того, что сегодня называют «экуменизмом», т. е. в своей основе он имел не столько «консервативные», сколько «либеральные» импульсы и интенции. Сама Фаджио-

натто отмечает, что в годы существования этого учреждения в стране не было никакой цензуры над печатью и контроля за деятельностью разных сект, была открыта дверь проповедникам, преследуемым на Западе из-за своих еретических идей, а противники видели в мировоззрении князя и его помощников странное совмещение идей мистических с просветительскими, подобное тому, которое существовало в кружке крупнейшего русского масона Н. И. Новикова (с. 240, 244). Большое внимание автор главы уделяет деятельности Библейского общества.

В целом образ А. Н. Голицына исследовательница рисует весьма своеобразным, далеким от канонического. Под ее пером он предстает не как реакционер или же консерватор, но, скорее, как представитель некоего достаточно туманного «мистического либерализма», флуктуирующего под размытым знаком масонства и искушенного множеством религиозно-еретических идей современной ему эпохи, происходивших главным образом из Европы.

К сожалению, Р. Фаджионатто ничего не говорит о судьбе князя после его отставки с поста министра в 1824 г., в то время как умер он только в 1844 г.

А. Ю. Минаков в своем очерке о М. Л. Магницком также корректирует стереотипный образ своего фигуранта — «дикого мракобеса», «разрушителя Казанского университета». Он внимательно восстанавливает его биографию, детально, со вкусом и размахом описывает злоупотребления, вскрытые Магницким в период отправления им должности воронежского вице-губернатора, и его контрмеры (с. 273—277).

Автор главы отмечает, что представление о «погроме» Казанского университета является одним из ключевых элементов, на которых держится историографическая конструкция «реакционного поворота 1820-х гг.». Поэтому особое внимание он уделяет ревизии этого учреждения, проведенной Магницким, дезавуируя расхожее мнение о «разгроме», учиненном там его фигурантом.

Обращение к архивным материалам позволяет исследователю существенно уточнить картину ревизии, прийти к заключению, что в отчете о ней почти не прослеживаются консервативные политические мотивы, которыми Магницкий якобы руководствовался по преимуществу: в этом документе «совершенно очевидно на 9/10 преобладают мотивы академического характера, стремление проверить финансовое состояние университета, его

административно-хозяйственную часть и т. д.» (с. 281). Нельзя, по мнению Минакова, говорить также о поверхностности и поспешности данной ревизии. Отчет о ней рисует несомненные вопиющие недостатки, злоупотребления и должностные преступления, имевшиеся в университетской жизни. Исследователь отмечает, что оценки, данные Магницким казанскому профессорско-преподавательскому составу, зачастую точны и объективны; как выдающихся ученых увенчанный недоброй славой «ревизор» выделил Н. И. Лобачевского и астронома И. М. Симонова.

По поводу «хрестоматийной» фразы Магницкого о «публичном разрушении университета» дается важное пояснение: речь идет о системе мер, целесообразность которых можно оспаривать, но которые сами по себе не были ни реакционными, ни обскурантскими. Они явно исключают те крайне негативные характеристики, которые к ним применялись.

Так, в литературе более чем на порядок преувеличены масштабы антилиберальной чистки «лучших профессоров». Увольнялись они прежде всего по причине преклонного возраста, низкой квалификации, пристрастия к алкоголю и т. п. По идейным мотивам был уволен только И. Е. Срезневский — один из 11-ти. Здесь Минаков солидаризируется с позицией казанской исследовательницы Е. А. Вишленковой. Далее он пишет о деятельности Магницкого в качестве попечителя Казанского учебного округа. Интересно определение, которое автор главы дал инструкции Магницкого директору Казанского университета от 17.01.1820 г.: «странный синтез бюрократического документа и религиозно-философского трактата» (с. 284).

Рассматривает Минаков и общественно-политические взгляды своего фигуранта, а также его работу в Комитете по составлению цензурного устава 1820—1823 гг. Он отмечает, что позднее Магницкий был одним из инициаторов обращения правительства к вопросу о «зловредности тайных обществ». Анализируя его записи, поданные Николаю I, исследователь приходит к выводу, что Магницкий, видимо, являлся одним из первых консерваторов, начавших утверждать о существовании некоей связи между масонством и еврейством, и, в сущности, в этом отношении он оказался своеобразным предтечей С. А. Нилуса.

Автор главы отмечает и то, что, негласно руководя ревельским журналом «Радуга», Магницкий на его страницах пытался разработать свой вариант доктрины «официальной народности». Он полага-

ет, что данный деятель был ярким представителем того течения в русском консерватизме, которое опиралось на православие и разрабатывало концепцию «самобытного пути России», и, таким образом, с определенными оговорками, в идейном плане он оказался непосредственным предшественником графа Уварова с его известной «триадой» (с. 303).

Американский историк А. Мартин, автор очерка об А. С. Стурдзе, обращает внимание на парадокс, заключающийся в том, что в первые десятилетия XIX в. одни и те же просветительские учения служили идейной основой как российскому самодержавию, так и европейским революционным движениям, и в этих условиях некоторые русские консерваторы решились стать одновременно и охранителями, и новаторами; одной из наиболее ярких, хотя и малоизученных фигур этого движения, он считает А. С. Стурдзу, пытавшегося перестроить и Россию, и посленаполеоновскую Европу на основе идеологии «Священного союза» (с. 308). А. Мартин подробно анализирует общественно-политические взгляды этого государственного деятеля, выделяя основные элементы мировоззрения Стурдзы. В центре его внимания стояла религия, на которую он взирал со строго православных позиций.

Автор главы называет Стурдзу «своего рода филэллин-славянофилом», рассматривает его внешнеполитические взгляды, в частности — отношение к Французской революции. Последнее суммируется им в краткой концептуальной формуле: «революция являлась плодом безбожных учений Просвещения, которые в конце концов уходят корнями в раскол Рима со Вселенской церковью» и представляла собой «апокалиптическое, направляемое Провидением, междоусобие христианства» (с. 323).

Исследователь приходит к выводу, что по важнейшим вопросам взгляды Стурдзы совпадали с мнением Александра I, И. А. Каподистрии и А. Н. Голицына, и он, в отличие от своих начальников, умел придать туманной идеологии «Священного союза» ясные контуры и применить ее к конкретным проблемам дня. Однако, согласно оценке А. Мартина, его фигурант был не только пропагандистом «Союза», но и одним из важнейших его теоретиков, возможно, самым важным в России. Автор очерка отмечает, что политическая программа Стурдзы была более «прогрессивной», нежели его репутация: исключая уклонение от языка народного суверенитета и подчеркивание

определяющей роли церкви, она «напоминала идеи умеренных либералов южной или центральной Европы» (с. 334). Данная оценка исследователя очень важна в плане изучения взаимосвязи и диалектики «либерализма»/«реакции» в политике Александра I.

Касается А. Мартин, но очень кратко, судьбы Стурдзы в эпоху Николая I и его оценок николаевского царствования.

М. М. Шевченко принадлежит глава о С. С. Уварове. Думается, что в монографии она является одной из самых лучших. Общей задачей ее автора является преодоление глубоко укоренившегося схематизма и односторонности в освещении и оценке консервативной составляющей истории России, а конкретной — воссоздание политического портрета графа. Исследователь напоминает, что в европейской научной среде Уваров приобрел репутацию «одного из самых острых умов, существовавших в цивилизованном мире».

Шевченко подробно освещает его общественно-политические взгляды на разных этапах жизненного пути, в частности — отношение графа к отмене крепостного права. Автор очерка отмечает, что знаменитая триада Уварова, в сущности, является перефразировкой старинного военного девиза «За Веру, Царя и Отечество!». Он разбирает идеи, изложенные графом в документах, выражающих смысл «триединой формулы».

Исследователь тщательно анализирует курс, проводимый Уваровым на посту министра народного просвещения, отмечая своеобразный парадокс: будучи по своей интеллектуальной культуре человеком глубоко западным, граф тем более сильно желал, чтобы будущее поколение, оставаясь на европейском уровне образованности, «лучше знало русское и по-русски», стремился «уронить роль иностранных учителей» (с. 360, 361). Шевченко обращает внимание и на то, что авторитет и связи Уварова в европейском научном мире представляли немаловажный элемент в политической системе русского правительства. Итоги министерской де-

ятельности графа автор главы подводит на основе тщательного изучения документальной базы; эти итоги видятся ему вполне позитивными.

Уделяется внимание и периоду президентства Уварова в Академии наук, деятельности его в качестве главы цензурного ведомства. Здесь Шевченко замечает, что его фигурант, с одной стороны, участвовал в создании «умственных плотин», с другой стороны, понимая, что повседневный жесткий надзор за печатью может нанести ущерб авторитету правительства в глазах зреющего общественного мнения, старался придать цензуре большую гибкость; однако усилия министра к тому, чтобы не допустить нарастания у нового поколения опасного для самодержавия чувства неволеванности, в конечном счете не нашли понимания у власти (с. 389). Нельзя не отметить, что вопрос о цензуре в России во время министерства Уварова рассмотрен основательно, умно и подробно.

Автор главы бросает свет и на последние годы жизни графа, последовавшие за его отставкой, отмечая, что признание заслуг Уварова в деле развития народного образования сохранялось в общественном мнении на протяжении 1850-х гг. Крайне интересны приводимые Шевченко прогнозы экс-министра, связанные с отменой в стране крепостного права (с. 403—404); они оказались достаточно близки к истине.

Помимо несомненных достоинств, встречаются в монографии и некоторые недочеты. Так, на с. 30 говорится о Шведской войне 1779—1780 гг., но, судя по контексту, имеется в виду русско-шведская война 1788—1790 гг.; на с. 239 остался непереверденным большой отрывок из письма австрийца Лебцельтерна, написанный по-французски. Несмотря на данные «промахи», книга получилась яркой, интересной, талантливой; написана она живым научно-литературным языком. В изучение русского консерватизма первой половины XIX столетия рецензируемое издание вносит весомый вклад — не только академический, но и общекультурный.

*Воронежский государственный университет  
С. В. Хатунцев, кандидат исторических наук,  
преподаватель кафедры истории России  
Воронежского госуниверситета,  
stashat@comch.ru  
Тел.: 24-75-14*

*Voronezh State University  
S. V. Hatuntsev, the candidate of historical science,  
the lecturer of the department of Russian History  
of the Voronezh State University,  
stashat@comch.ru  
Tel.: 24-75-14*